

УДК (091)

КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ: «ОДИНОКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ» ПЕРЕД ЛИЦОМ СТРАХА



Гагарин Анатолий Станиславович,

Институт философии и права
Уральского отделения Российской академии наук,
ведущий научный сотрудник,
доктор философских наук, доцент,
Екатеринбург, Россия,
E-mail: gagarin_a@mail.ru

Аннотация

Философия жизни Константина Леонтьева базируется на особом леонтьевском эстетизме, пронизывающем все его философское, литературное, критическое творчество. Философ во всем стремится сохранить личное, собственное отношение. Леонтьев смело связывает воедино животный страх «за себя» и Страх Божий, полагая, что экзистенциальное потрясение способно проникнуть в самые глубины человека и стать рефлексивно-экзистенциальным чувством, интенцированным к трансценденции. Леонтьев приходит к необходимости «личного христианства» как трансцендентального, не земного, эгоизма, в котором «Страх Божий» (страх за себя, за свою вечность) есть начало премудрости религиозной».

Ключевые слова:

страх, Страх Божий, смерть, экзистенция, экзистенциал, философия жизни, эстетизм, красота, вера, христианство, православие, монашество, Константин Леонтьев, Николай Бердяев.

Большинство исследователей творчества русского философа Константина Леонтьева отмечает, что он был и остается «одиноким мыслителем» в ряду своих современников и потомков. Николай Бердяев вообще утверждал, что Леонтьеву не близок русский менталитет, русское чувство жизни, поскольку суть мятущейся природы Константина Леонтьева есть потребность разрешить проблему личной судьбы: «Он занят самим собой перед лицом вечности» [1].

При всей противоречивости леонтьевской философии жизни можно, тем не ме-

нее, выявить основной стержень, несущий на себе всю многоярусную философско-мировоззренческую конструкцию и выдерживающий натиск ее элементов, часто сталкивающихся друг с другом и этим приводящих в смятение читательские умы. Это особый леонтьевский *эстетизм*, пронизывающий все его творчество – философское, литературное, критическое. «Я считаю *эстетику мерилом* наилучшим для истории и жизни, ибо оно приложимо ко всем векам и ко всем местностям», – писал Леонтьев [2]. Сам он откровенно называл себя «*эстетическим*

мономаном» и «художественным психопатом», а по сути – патологоанатомом распадающейся действительности, некогда пышной и цветущей. «Эстетика, как критерий, приложима ко всему, начиная от минерала до человека. Она поэтому приложима и к отдельным человеческим обществам, и к социологическим, историческим задачам» [3]. Но Леонтьев подчеркивает, что речь идет не просто об эстетике, а именно об *эстетике жизни*, которая «гораздо важнее отраженной эстетики искусства».

Видя, как погибает европейская культура под натиском ненавистного ему буржуазного эгалитаризма, Леонтьев ищет такие пути спасения русской (и затем – европейской) культуры, которые отвечали бы его эстетическому, т. е. «объективному», по его мнению, чутью. Путь, найденный К. Леонтьевым, не был похож ни на славянофильский, предполагающий рассмотрение европейской культуры как изначально-индивидуалистической, ни на ортодоксально-христианский, ни на «всечеловеческий» (Достоевский), ни на «практически-моральный» (Толстой), ни на римско-католически-ориентированный «богочеловеческий» (Вл. Соловьев), не говоря уже об атеистическом, революционно-демократическом, категорически неприемлемом для этого философа.

Как утверждает современник, споря с Толстым о вере в Оптиной пустыни, Леонтьев на прощание сказал ему: «Жаль, Лев Николаевич, что у меня мало фанатизма. А надо бы написать в Петербург, где у меня есть связи, чтобы вас сослали в Томск, и чтобы не позволили ни графине, ни дочерям вашим даже и посещать вас, и чтобы денег вам высылали мало. А то вы положительно вредны!» [4]. Но самое любопытное, что Л. Н. Толстой после этой беседы записал в дневнике: «Прекрасно беседовали. Он сказал: вы безнадежны. Я сказал ему: а вы надежны. Это выражает вполне наше отношение к вере». Толстой говорил о статьях Леонтьева, что «он в них все точно стекла

выбивает: но такие выбиватели стекол, как он, мне нравятся» [5].

Леонтьев категорически выступает против всякой простоты, за которой ему видятся утрата своеобразия, разрушение «разнообразия в единстве» – общего закона красоты. Опрошение для Леонтьева означает самооскопление и гибель. «Смерть – упрощение организма», – пишет он. Разложению и смерти организма как третьему этапу развития предшествуют следующие явления: упрощение составных частей, уменьшение числа признаков, ослабление единства и вместе с тем смешение. Все эти симптомы разложения Леонтьев наблюдает в европейской цивилизации.

Для Леонтьева, как мы отмечали, культура «есть не что иное, как своеобразие». Поэтому он считает, что китаец и турок культурнее бельгийца и швейцарца. И главную причину гибели культуры европейских народов философ видит в господстве *индивидуализма*, в либеральном демократизме, который губит *индивидуальность* людей, областей, наций. Леонтьев выстраивает такую логическую цепочку будущих изменений Европы: «... равенство лиц, сословий, наций – всеобщее равенство, свобода – приятная польза – благо – и наконец, анархия либо всеобщая мирная скука» [6]. Если идею личной свободы довести до крайних выводов, пишет он, она через посредство анархии доведет «до крайне деспотического коммунизма, до юридического насилия всех над каждым, или, с другой стороны, до личного рабства» [7].

Леонтьев ищет силы для противостояния надвигающемуся с Запада разложению не только в русской религиозности, но и в прошлом западной Европы и Византии, где он отыскивает залог спасения России, а в будущем, как он мечтает, – и всей европейской цивилизации. Особый эстетизм Леонтьева проявляется в идее о расхождении красоты, морали и пользы, положенная им в основу концепции спасения России и лечения Европы. «...Для России нужна внутрен-

няя сила, крепость организации, крепость духа цивилизации», – писал Леонтьев. Как этого можно достичь? Только силой! «Да разве в России можно без *принуждения*, и строгого даже, что бы то ни было сделать и утвердить? У нас что крепко стоит? Армия, монастырь, чиновничество и, пожалуй, крестьянский мир. Все *принудительное*». Так появляется мысль о «настоящей деревянной палке» для России, о «железной рукавице».

Леонтьев считал, что эстетическая критика, подобно искреннему религиозному убеждению, «должна неизбежно исходить из живого личного чувства и стараться лишь оправдать и утвердить его логически... Там – *личная вера* прежде, – общее рассуждение после; здесь *субъективный* вкус сначала, – разъяснение после» [8]. Следует подчеркнуть, что природа эстетизма Леонтьева – духовно-чувственная, поэтому, как признается философ, его увлекает «тонкий, благоухающий разврат», окрашенный в религиозно-мистические тона и призванный порождать «эстетический страх», мистический «*страх перед Богом*», а не просто веру. Леонтьев помещает в центр своего эстетизма мистическое начало и даже признается, что когда духовное (мистическое) чувство побеждает «страстную эстетику», то это вызывает у него чувство преклонения.

Леонтьевская замороженность пышной, бурлящей жизнью, экстатическое отношение к красивому и сильному, неизбывная любовь к «благоухающему разврату» неотрывны от страстного поиска Бога, крепких основ, несокрушимых идеалов именно потому, что философ во всем стремится сохранить *личное, собственное* отношение, начало, основание.

За что больше всего боится человек? За себя! С чего начинается всякое движение мысли, всякое желание? С Я, личных устремлений, пристрастий. Это никуда не спрятать, не превозмочь. Я нужно непременно утвердить в качестве главного основания, критерия, мерила философии. *Страх за себя* должен стать основанием многослойной

человеческой жизни и, соответственно, – мировоззрения и философии. «Одиноким мыслителем» Леонтьев перед лицом страха смело связывает воедино животный страх «за себя» и страх Божий, полагая, что чувственное потрясение (экзистенциальное по сути) способно проникнуть в самые глубины естества человеческого и стать рефлексивно-экзистенциальным, интенцированным к трансценденции. «Христианство личное есть, прежде всего, *трансцендентальный* (не земной, загробный) *эгоизм*. Альтруизм же сам собою «приложится». «Страх Божий» (за себя, за свою вечность) есть начало премудрости *религиозной*» [9].

Убеждение в необходимости *личной веры, личного спасения* (трансцендентального эгоизма) пришло к Леонтьеву, по его признанию, в 40 лет. В письме к Василию Розанову из Оптиной пустыни он так описывал это озарение: «*Личная вера почему-то* вдруг докончила в 40 лет и политическое, и художественное воспитание мое. Это и до сих пор удивляет меня и остается для меня таинственным и непонятным. Но в *лето 1871 года*, когда консулом в Салониках, лежа на диване в страхе *неожиданной* смерти (от сильнейшего приступа холеры), я смотрел на образ Божьей Матери (только что привезенный мне монахом с Афона), я *ничего этого* предвидеть еще не мог, и все литературные планы мои были даже очень смутны. Я думал в ту минуту даже *не о спасении души* (ибо вера в *Личного Бога* давно далась мне гораздо легче, чем вера в *мое собственное личное бессмертие*); я, обыкновенно вовсе не боязливый, пришел в ужас просто от мысли о *телесной* смерти и, *будучи уже заранее подготовлен* (как я уже сказал) целым рядом других психологических превращений, симпатий и отвращений, я *вдруг, в одну минуту, поверил* в существование и в могущество *этой Божьей Матери*: поверил так ощутительно и твердо, как если бы видел перед собою *живую*, знакомую, действительную женщину, очень добрую и очень могущественную, и воскликнул:

«Матерь Божия! *Рано!* Рано умирать мне!.. Я еще ничего не сделал достойного моих способностей и вел в *высшей степени* развратную, утонченно-грешную жизнь! Подыми меня с этого одра смерти. Я поеду в Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в *простого и настоящего* православною, верующего и в *среду*, и в *пятницу*, и в чудеса, и даже постригусь в монахи...

Через 2 часа я был здоров; все прошло еще прежде, чем явился доктор; через три дня я был в Афоне; постригаться немедленно меня отговорили старцы; но *православным* я стал очень скоро под их руководством... К *русской* и эстетической любви моей к Церкви надо прибавить еще то, чего не доставало для исповедания даже «середы и пятницы»: страха греха, страха наказания, страха Божия, страха духовного. Для достижения этого страха *духовного* – нужно было моей гордости пережить всего только 2 часа *физического* (и обидного) ужаса. Я смирился после того и понял сразу ту высшую *телеологию случайностей*, о которой говорил. Физический страх прошел, а *духовный* остался. И с тех пор я *от веры и страха Господня* отказаться уже не могу, если бы *даже и хотел*... Религия не всегда утешение; во многих случаях она тяжелое иго, но кто истинно уверовал, тот с этим игом уже ни за что не расстанется! И всякое *сомнение*, всякое *невыгодное* для религии философствование он будет с ненавистью и презрением *легко* от себя отгонять, как отгоняют несносную муху...» [10].

Этот фрагмент письма многое проясняет в леонтьевском мировоззрении, которое отражало борьбу добра и зла, вмещало грех и искупление, кипение страстей, страдания, испытания души и тела. Именно в сложности, борьбе, схватке видятся Леонтьеву истоки жизни, философии, религии. Поэтому он не приемлет умозрительный, нехристианский, по его мнению, аскетизм Достоевского и Вл. Соловьева, их мечты о построении Храма Божьего на земле, эвдемонистическое устремление к безмятежному, среднестати-

стическому счастью. Леонтьев отмечает, что у греков для выражения идеи счастья есть два слова: *эвтихия* – внешнее счастье, удача, хорошая судьба и *эвдемония* – внутреннее счастье, субъективное довольство, благоденствие. Эвдемонизм, пишет Леонтьев, стал новой религией – верой во всеобщее земное благоденствие, являющееся конечной целью человечества, религией, которую проповедуют либералы и прогрессисты всех стран еще с XVIII века. Он рассматривает как противоположности *субъективный эвдемонизм*, имеющий целью всеобщую пользу, понятую как «всеобщее, внутреннее, субъективное довольство» (что есть, по сути, «проповедь однообразного реализма»), и *христианский аскетизм* и утверждает, что «и тот, и другой имеют в виду прежде всего *личность, душу* человеческую (*индивидуума*); – но один говорит: *все на земле и все для земли*; а другой – *ничего на земле, ничего для земли*. «Царство мое не от мира сего!» И в то же время (какая странная игра идей! Какое переkreщивание исторических законов!) – в то же время аскетизм христианский подразумевает борьбу, страдания, неравенство, то есть остается верен *феноменальной* философии строгого реализма; а эвдемоническая вера мечтает уничтожить боль, этот существенный атрибут всякой исторической и даже животной *феноменальности*. Христианство сообразнее и с земной жизнью, чем эти – холодные надежды бесполезного прогресса!» [11].

Леонтьев стремится вернуть человеку его собственные экзистенциалы, с которыми он всегда пребывает, – боль, страдание, страх. Да, любовь к Богу, чистая и бескорыстная, есть вершина духовного подвига. Но она, увы, не достижима всеми людьми. А вот страх, страдание, боль доступны всем, даже дикарям. И в высшем, духовном постижении Бога религиозный человек не порывает с корнями своей экзистенции, он наполняет отвлеченные понятия жизненностью, богатством, полнокровием. Более того, «зло, – пишет Леонтьев, – так же присуще нравственной

природе человека, как боль и страдание его телу». А страх как состояние, позволяющее наиболее полно пережить испытание борьбой со злом, искушение пороками, является наилучшим и универсальным, демократичным (в духе Лютера) средством спасения человека. Прав Г. Флоровский, утверждавший, что *Леонтьев – весь в страхе*. В этом Леонтьеву близок Шопенгауэр, склонявшийся к выводу о безнравственности радости: ее редко можно разделить с другими, гораздо чаще она рождает зависть в отличие от горя, имеющего положительную ценность и вызывающего сочувствие, желание сопереживания. Леонтьев полагает, что радость, как и счастье, ведет к тому, что человек забывает о Боге, о спасении, о «трансцендентальном эгоизме».

Стремление сделать страх главным экзистенциалом собственной философии и, более того, увидеть его проявление в действительной истории прослеживается на всем творческом и жизненном пути Леонтьева: «Кто боится, тот смиряется; кто смиряется, тот ищет власти над собой, власти видимой, осязательной; он начинает любить эту власть духовную, мистически, так сказать, оправданную пред умом его» [12]. Одна из его статей называется «Страх Божий и любовь к человечеству», в ней он клеймит «розовое» христианство Достоевского, которое писатель проповедовал в знаменитой речи о Пушкине.

И Василий Розанов, и Николай Бердяев отмечают основную черту эстетизма Леонтьева – сплав эстетической упоенности жизнью и религиозного ужаса гибели, т. е. *антисмертность (бессмертие) красоты* [13]. Этот поиск всего «жизненно-напряженного», по выражению Розанова, заводил Леонтьева в непроходимые, пугающие многих дебри парадоксов и крайне смелых выводов.

Его идеал человека не находит соответствия в реальности (тем хуже для реальности, полагает Леонтьев). Он рисует такую картину: идеальный герой, аристократ, рыцарь, для которого честь превышает смерть,

отказывается от рыцарской дуэли, но не по страху телесному, а по страху Божьему. «...Трудно вообразить себе борьбу, более высокую и трогательную, как и в подобном случае борьба человека храброго и самолюбивого и в то же время религиозного. И если желание «угодить Богу» победит чувство чести, если смирение перед Церковью побороет гордость перед людьми, если «святое» и «душеспасительное» подчинит в нем *благородное и эстетическое* и он, ничуть не робея, откажется от поединка, – то это истинный уже герой христианства... Видать я таких еще не видал, но вообразить можно; и, конечно, в старину на Западе такие люди бывали» [14]. Последнее утверждение весьма показательное для Константина Леонтьева.

Философ признается, что он благовоет, когда страстную эстетику побеждает духовное (мистическое) чувство, и негодует, когда таинственную, необходимую для полноты жизненного развития поэзию побеждает утилитарная этика, и не ждет ничего от такого общества [15]. Леонтьев полагает, что для «всемирной морали» необходима опора на мистику. «Твердость видимой этики зиждется прочно на вере в невидимое. <...> Страх Божий поддерживается превосходно страхом человеческим» [16]. Леонтьев всюду ищет эстетику жизни, почитаемую им выше «отраженной эстетики искусства». Любопытно, что он находит ее в Евгении Онегине, Вронском, Каратаеве, которые сами романов и стихов не пишут, но в них «личной, объективной поэзии» гораздо больше, чем, к примеру, в Надсоне или Гаршине. Художественная ценность отражения всецело зависит от передачи совокупности мистических сил – божественных и демонических, религиозных и страстно эстетических. Ведь, как сказал один монах Леонтьеву, и философ с удовольствием приводит этот довод в одном из писем, есть свет *божественный*, духовный, а есть и свет *демонов*, существ, Богом же созданных, но уклонившихся, свет ложный, свет языческих богов (а святоотеческое хри-

стианство признает реальное существование языческих богов).

Монашество – неустанная борьба мистического со страстным – исследуется Леонтьевым при помощи любимого «эстетизма». Живя среди монахов, философ убеждается в том, что их сердечная борьба исполнена «необычайной жизни, драмы внутренней и поэзии». Уединение грозит то внутренней гордостью, то унынием, то отчаянием. Жизнь в обители может породить тщеславие, зависть, гнев. Во всем и везде присутствует нравственная опасность, свидетельствует Леонтьев, и постоянная внутренняя борьба преследует добросовестного инока иногда до гроба... Стремление отыскать многообразные проявления жизни в монашестве сближает русского философа с мировосприятием раннего Христианства, еще не избавившегося от влияния язычества, от пантеизма. Розанов, комментируя письма Леонтьева, уловил это сочетание «благой вести» Христа и природы, проявляющееся в монашестве как психическом чуде. В основе монашества, полагает Розанов, содержится «испепеление» бытийства, бытийственных вещей, погашение энергии. Мировой секрет монашества заключается, по Розанову, в том, что оно является «Живою и Личною Смертью: тихим увяданием с радостью на свое увядание. <...> Вообще *тихость*, штиль планеты целой и, в конечном анализе, смерть – вот суть монашества. Может быть, мы, умирая, «преображаемся», тогда в монашестве предчувствие «рая за гробом» [17].

Леонтьев остро переживает ориентированность монашества на загробную жизнь, но доказывает – прежде всего самому себе, – что личное *обживание смерти, личностность смерти*, ее оживление в монашестве как вечном подвиге является высшей формой нравственного бытия, красоты, жизненности.

Принцип «эстетического инстинкта» сопряжен у Леонтьева с «государственным тактом», или «утилитаризмом» по его терминологии. Основной тезис философии жизни

Леонтьева предполагает необходимость зла, ибо жизнь должна быть пышна, богата и разнообразна борьбою сил «божественных» с силами «демоническими». Леонтьев считает, что желать только мирного, морального, полезного, среднеутилитарного существования – это значит желать прозы, ослабления «святого» духа, поэзии и, в конечном счете, – разрушения.

В государственном деле монархическое начало (как принудительное), считает Леонтьев, создало «все наше государственное величие», даже раскол и бунты несут печать этого начала. Монархическое начало – главное орудие дисциплины и одновременно знамя бунта (например, Пугачев, «обманувший народ лжелегитимизмом»). Но Леонтьев убежден, что никакой Пугачев не может повредить России так, как могла бы повредить ей «очень мирная, очень законная демократическая конституция», которая толкает к обмирщению. Поэтому Леонтьев не приемлет высказывания о кротости Христа, ведущие, по его мнению, к оскудению духа, духовному мешанству.

Его идеал – византизм, отвергающий всякую надежду на всеобщее благоденствие народов, и выступающий сильнейшей антитезой «идее всечеловечества, в смысле земного всеравенства, земной всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства». Леонтьев высоко ценит влияние византийской культуры, православия, «системы византийской идеи», которая, «сопрягаясь с нашими патриархальными, простыми началами, с нашим еще сырым и грубым вначале славянским материалом», создала величие России, сплотила «полудикую Русь», помогла пережить «татарский погром», дала силу в борьбе с другими врагами. При этом, с одной стороны, эстетическое чувство, влечет Леонтьева к византийским идеалам, и он как «послушник восточной иерархии», как «православный христианин» отвергает идею Соловьева о слиянии церкви под властью папы; с другой стороны, он честно признается, что римский католицизм отвечает «его истинно-деспотическим

вкусам». Свою собственную религиозность Леонтьев характеризовал двояко: как религию *разочарования*, религию безнадежности – по отношению к «внутренней жизни нашего сердца», и как «религию *дисциплины*» – для «государственной общественности».

Такое соединение безнадежности и страстных поисков идеала очень характерно для мировоззрения Леонтьева. И потому неудивительно, что он провидчески восклицает: «Люди захотят непременно испытать свой крайний идеал...» [18], имея в виду будущие общественные потрясения, избежать которых, увы, не было дано... Так, он пишет: «Когда будет проповедано Евангелие во всех концах земли и люди станут верить безумно в мир и спокойствие – тогда-то и постигнет их пагуба...» [19].

Сам Леонтьев считает, что если произойдет соединение церковью под властью папы, прельстившее христиан «обещанием гармонии (кисельными берегами и молочными реками)», то все равно кисельные берега отвалятся и по-прежнему будет стоять на земле стон от скорбей, обид и лишений. Европа разлагается, и это следствие общего естественного закона, а не порока в глубинах жизни, констатирует Леонтьев, и нельзя быть уверенным в том, что период распада минует Россию. Поэтому «великая будущность» России – не роковая и неизбежная, а только *желательная и возможная*, и эта будущность часто кажется философу маловероятной.

Как же построить славянское государство во главе с Россией, «единое в сложном», «разнообразное в едином»? Леонтьев считает, что для исполнения особого и великого религиозного призвания Россия «должна все-таки *значительно разниться* от Запада, и государственно-бытовым строем своим, иначе она не *главой* религиозной станет над ним, а простодушно и по-хамски срастется с ним *ягодицами* демократического процесса (родятся такие уроды – ягодицами срослись)» [20]. Для противостояния эгалитарному европейскому прогрессу нужно «крепить

себя, меньше думать о благе, а больше о силе. Будет сила, будет и кой-какое благо, возможное. Для России нужна внутренняя сила, нужна крепость организации, крепость духа и дисциплины» [21].

Если новый федеральный Запад будет крепок, рассуждает Леонтьев, нужна дисциплина для защиты независимости России от натиска Запада, а если он впадет в анархию, то дисциплина будет необходима, чтобы помочь самому Западу, спасти в нем то, что достойно спасения, то именно, что сделало его величие – церковь, государство, поэзию, науку.

Леонтьев, отвергая славянофильские идеи равноправия, бессловности, национальный принцип государственности, исходит в большей степени из принципа культурно-исторической типологии, соединенного с предпочтением православия. Поэтому он и делает такие, на первый взгляд, неожиданные выводы: «Культура особая нужна, а славянство, пожалуй, только необходимое зло при этом. Без них (славян) нельзя; но надо *морициться*, сознавая это, а не улыбаться», – пишет философ в письме к Александрову в 1888 году [22].

Н. Бердяев, назвавший Константина Леонтьева одним из «самых пронизательных русских мыслителей», понял сложное душевное состояние философа, со всей ясностью осознавшего, что вслед за цветением культуры наступает закат, смерть, и для западноевропейской культуры, охваченной процессом либерально-эгалитарного разложения, смерть уже неотвратима... «Но он хотел верить, – пишет Н. Бердяев, – что цветущая культура возможна еще на Востоке, в России. Под конец жизни он потерял и эту веру, он увидел, что и в России торжествует цивилизация, что Россия идет к «упростительному смешению». Тогда им овладела мрачная апокалиптическая настроенность. Так и Вл. Соловьев под конец потерял веру в возможность в мире религиозной культуры и ощутил жуткое чувство наступления царства Антихриста» [23].

Прозорливо предвосхищая крушение прежних устоев, Леонтьев отыскивал в жизни России опоры, которые составляли несущие конструкции российского здания, – это государственность, религия, армия, крестьянский мир. Неустанно призывая поддерживать и укреплять их, Леонтьев мечтает, по сути, не столько сохранить в неизменности это здание, понимая нереальность одномерного охранительства, сколько построить практически новую культуру, сильную своей сложностью, «многообразием в единстве», борьбой противоположных начал, культуру, обновленную спасительными, с его точки зрения, древними западноевропейскими и византийскими «камнями».

Леонтьев, как и Соловьев, и Ницше, и Шпенглер, восставал против «нищенства своей эпохи» (выражение Розанова), против расплодившихся «мертвых душ», вызывающих ощущение смерти и распада. Леонтьев всю жизнь искал оружие против смерти и остановил свой выбор на красоте и страхе, придав им силу мистического оружия и пронеся их через собственные идеи и судьбу. Став единственным практическим (а не теоретизирующим) отрицающим философом, Леонтьев сделал саму жизнь философией жизни. Он писал, что для России «лучше десять мистических сект вроде скопчества, нежели одна гениальная философская система» [24]. Сейчас, читая Леонтьева, мы проверяем верность его предположений: может, именно из *страха смерти*, из осознания умирания в смещении обособившихся форм, совершаются внешне необъяснимые действия исторических сил и фигур?

1. Бердяев Н. Константин Леонтьев: (Очерки из истории русской религиозной мысли) // Бердяев Н.А. О русской философии. Свердловск, 1991. Ч. 1. С. 150–151.

2. Цит. по: Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 242.

3. Леонтьев К. О Владимире Соловьеве и эстетике жизни (по двум письмам к И. Фуделю). М., 1912. С. 35.

4. Цит. по: Памяти Константина Николаевича Леонтьева. С. 135.

5. Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. М., 1951. Т. 51.

С. 23.

6. Леонтьев К. Византизм и славянство. С. 93.

7. Там же.

8. Леонтьев К. Анализ, стиль и веяние // Вопр. лит. 1988. № 12. С. 203.

9. Леонтьев К. Собр. соч. М., 1912. Т. 6. С. 336.

10. Цит. по: Корольков А.С. Пророчества Константина Леонтьева. СПб., 1921. С. 130.

11. Цит. по: Начала. М., 1992. № 2. С. 30.

12. Леонтьев К. Избранное. М., 1993. С. 17.

13. Цит. по: Корольков А.С. Пророчества Константина Леонтьева. СПб., 1921. С. 124.

14. Леонтьев К. О Владимире Соловьеве... С. 34.

15. Там же. С. 35.

16. Леонтьев К. Избранное. С. 214.

17. Там же. С. 182.

18. Леонтьев К. Византизм и славянство. С. 183.

19. Леонтьев К.Н. Собр. соч. Т. 8. С. 194–195.

20. Леонтьев К. О Владимире Соловьеве... С. 28.

21. Леонтьев К. Византизм и славянство. С. 184.

22. Цит. по: Богословский вестник. 1914. № 5. С. 277.

23. Бердяев Н. Предсмертные мысли Фауста. С. 66.

24. Цит. по: Корольков А.С. Пророчества Константина Леонтьева. СПб., 1921. С. 193.

1. Berdyaev N. Konstantin Leont'ev: (Ocherki iz istorii russkoj religioznoj mysli) // Berdyaev N.A. O russkoj filosofii. Sverdlovsk, 1991. Ch. 1. S. 150–151.

2. Cit. po: Pamyati Konstantina Nikolaevicha Leont'eva. SPb., 1911. S. 242.

3. Leont'ev K. O Vladimire Solov'eva i e'stetike zhizni (po dvum pis'mam k I. Fudelyu). M., 1912. S. 35.

4. Cit. po: Pamyati Konstantina Nikolaevicha Leont'eva. S. 135.

5. Tolstoj L.N. Poln. sobr. soch. M., 1951. T. 51. S. 23.

6. Leont'ev K. Vizantizm i slavyanstvo. S. 93.

7. Tam zhe.

8. Leont'ev K. Analiz, stil' i veyanie // Vopr. lit. 1988. № 12. S. 203.

9. Leont'ev K. Sobr. soch. M., 1912. T. 6. S. 336.

10. Cit. po: Korol'kov A.S. Prorochestva Konstantina Leont'eva. SPb., 1921. S. 130.

11. Cit. po: Nachala. M., 1992. № 2. S. 30.

12. Leont'ev K. Izbrannoe. M., 1993. S. 17.

13. Cit. po: Korol'kov A.S. Prorochestva Konstantina Leont'eva. SPb., 1921. S. 124.

14. Leont'ev K. O Vladimire Solov'eva... S. 34.

15. Tam zhe. S. 35.

16. Leont'ev K. Izbrannoe. S. 214.

17. Tam zhe. S. 182.

18. Leont'ev K. Vizantizm i slavyanstvo. S. 183.

19. Leont'ev K.N. Sobr. soch. T. 8. S. 194–195.

20. Leont'ev K. O Vladimire Solov'eva... S. 28.

21. Leont'ev K. Vizantizm i slavyanstvo. S. 184.

22. Cit. po: Bogoslovskij vestnik. 1914. № 5. S. 277.

23. Berdyaev N. Predsmertnye mysli Fausta. S. 66.

24. Cit. po: Korol'kov A.S. Prorochestva Konstantina Leont'eva. SPb., 1921. S. 193.

UDC (091)

KONSTANTIN LEONTIEV: «THE LONELY THINKER» IN THE FACE OF FEAR

Gagarin Anatoly Stanislavovich,

The Institute of Philosophy and Law,
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences,
leader researcher,
doctor of Philosophy, associated professor,
Ekaterinburg, Russia,
E-mail: gagarin_a@mail.ru

Annotation

Russian thinker Konstantin Leontiev's philosophy of life is based on the special aestheticism, it pervades all his philosophical, literary, critical creativity. The philosopher strives to maintain personal private attitude. Leontiev boldly weaves together animal fear «for themselves» and the Fear of God, believing that the existential shock can penetrate the depths of man and become reflective and existential feeling, which intentioned (pointed) to the transcendence. Leontiev makes the conclusion the necessity «personal Christianity» as transcendental, not the earthly, selfishness, in which «Fear of God» (fear for himself, for his eternity) is the beginning of wisdom is religious».

Key words:

fear, the Fear of God, death, existence, existential, philosophy of life, aestheticism, beauty, faith, Christianity, Orthodoxy, monasticism, Konstantin Leontiev, Nikolai Berdyaev.